

интеллектуальный бестселлер

ГОНКУРОВСКАЯ
ПРЕМИЯ 2019



НЕ ВСЕ
ЛЮДИ ЖИВУТ
ОДИНАКОВО

ЖАН-ПОЛЬ
ДЮБУА

От лауреата Гонкуровской премии 2019

Интеллектуальный бестселлер

Жан-Поль Дюбуа

Не все люди живут одинаково

«ЭКСМО»

2019

УДК 821.133.1-31
ББК 84(4Фра)-44

Дюбуа Ж.

Не все люди живут одинаково / Ж. Дюбуа — «Эксмо»,
2019 — (Интеллектуальный бестселлер)

ISBN 978-5-04-113305-4

Пол Хансен отбывает двухгодичный срок в провинциальной тюрьме в Монреале. Мрачная и дышащая, она словно живая — так кажется заключенному. Теперь жизнь Пола — бесконечный мир сырости, жестокости, отчаяния и рефлексии. Чтобы скоротать долгие часы, он бесконечно вспоминает о прошлом: о пасторе-отце, обожающей кино матери, о жене, собаке и престижной работе в многоквартирном доме «Эксцельсиор», в котором он провел больше четверти века. В чем же заключается история его жизни и какова та цепочка событий, что привела его к совершению преступления? «Не все люди живут одинаково» — невероятно красивый и полный меланхолии роман об ушедшем счастье и безвозвратно утерянных возможностях. Содержит нецензурную брань!

УДК 821.133.1-31

ББК 84(4Фра)-44

ISBN 978-5-04-113305-4

© Дюбуа Ж., 2019

© Эксмо, 2019

Содержание

Скаген. Церковь, занесенная песком	12
Пастор в сомнениях	19
Глубина глоток	27
Конец ознакомительного фрагмента.	31

Жан-Поль Дюбуа

Не все люди живут одинаково

*Посвящается Элен,
а также Цубаки, Артуру и Луи,
а также Винсенту Ланделю, по которому я скучаю, и памяти
Жана-Мишеля Тараскона и Мишеля Рамоне*

*Все это заставляет задуматься о веренице дней, которой ничто не
могло придать ни формы, ни направления, которую ничто не оживляет,
никто не населяет и в которой ничто не имеет смысла.*

Розалинда Краусс

*Забывать бы этот день. Проиграл сегодня на бегах десять долларов.
Вот незадача. Да лучше бы сунул хрен в блин с кленовым сиропом.
Чарльз Буковски*

Снег шел целую неделю. Я смотрел из окна на ночь и слушал холод. Здесь холод рождает шум. Такой особенный, неприятный гул, создающий впечатление, что само здание, стиснутое ледяным кольцом, мучительно стонет, страдая от боли, вызванной сокращением тел под влиянием низкой температуры. В этот час тюрьма спит. Спустя некоторое время начинаешь привыкать к ее метаболизму, и можно слышать, как она дышит в темноте, словно большое животное, иногда кашляет и даже рефлекторно сглатывает слюну. Тюрьма поглощает нас, переваривает, и вот мы, скорчившиеся в ее брюхе, затаившиеся в пронумерованных складках ее кишок, притихшие между двумя ее рвотными позывами, спим и живем, как только можем.

Исправительное учреждение города Монреала, называемое «Бордо», поскольку было построено на территории одноименного квартала, расположено на бульваре Гоуин-Вест, 800, прямо возле реки Ривьер-де-Прери. 1357 заключенных. Восемьдесят два человека предали казни через повешение – до 1962 года. До того как здесь соорудили этот оплот неволи, местечко, очевидно, было чудесное – все как полагается: березы, клены, яркие метелки уксусного дерева, и высокие травы, и следы непуганых зверей среди высоких трав. Из этой фауны сейчас выжили только мыши да крысы. И, такова уж их неприхотливая натура, заселили замкнутый мирок запертого в клетку страдания. Они, судя по всему, превосходно приспособились к обстановке места лишения свободы, и их полчища заселили все уголки здания. Ночью отчетливо слышно, как грызуны неутомимо трудятся в камерах и коридорах. Чтобы преградить им путь, мы засовываем смятые газеты или тряпки из старой одежды в щели под дверями или кладем их перед вентиляционными люками. Ничего не помогает. Они проникают куда угодно, проползают, протискиваются и делают свое черное дело.

Тип камеры, в которой я живу, прозвали «кондо», что означает «квартира». Такого иронического названия это помещение удостоилось по той причине, что оно немного просторней, чем обычная камера, в которой все, что оставалось в нас человеческого, приходилось ужимать на территории в шесть квадратных метров.

Две кровати, стоящие одна напротив другой, два окна, две прибитые к полу табуретки, две полки, умывальник и унитаз.

Я делю это помещение с Патриком Хортоном, громадным детской размер в полтора человека, который вытатуировал историю своей жизни на спине, а историю своей любви к мотоциклам «Харлей – Дэвидсон» – на плечах и груди. Патрик ждет суда по делу об убийстве одного из «Ангелов ада», принадлежащего к монреальскому чаптеру: его расстреляли на полном ходу соратники, которые заподозрили его в сотрудничестве с полицией. Хортона

обвиняют в том, что он участвовал в этой экзекуции. Учитывая внушительные габариты и принадлежность к мотоциклетной мафии, имеющей в активе длинный список убийств и преступлений, все тюремное народонаселение почтительно расступается перед моим соседом, как перед каким-нибудь кардиналом, когда он прогуливается по коридорам сектора Б. А поскольку все знают, что я делю с ним уединение нашей камеры, я пользуюсь таким же уважением, как и этот местный нунций.

Вот уже две ночи подряд Патрик стонет во сне. У него разболелся зуб, а судя по стреляющей боли, там образовался абсцесс. Хортон несколько раз жаловался охраннику, и тот в конце концов принес ему тайленол. Когда я спросил, почему же он не запишется на прием к дантисту, он ответил: «Никогда. Если у тебя дупло в зубе, здесь эти сукины дети не будут ведь тебя лечить. Выдернут и все. А если два зуба больные, оба выдернут».

Мы соседствуем уже девять месяцев, и получается скорее неплохо. Оба по прихоти капризной судьбы оказались здесь примерно в одно и то же время. Почти сразу Патрику захотелось узнать, с кем же ему предстоит делить одно очко в клозете. И я рассказал ему свою историю, бесконечно далекую от жизни «Ангелов ада», которые контролируют весь наркотрафик нашей провинции и без малейших колебаний развязывают войны, сопровождающиеся вонью бензина и ревом мотоциклов, – как, например, та, которую они начали против своих извечных врагов «Рок-машин». В этой войне с 1994 по 2002 год в Квебеке погибло сто шестьдесят человек. Потом «Рок-машины» влились в клуб «Бандидос», который вполне оправдывает свое название, но тем не менее тоже понесли потери: восемь трупов, все члены группировки были небрежно разбросаны по четырем машинам, поставленным рядком. Все машины были зарегистрированы в провинции Онтарио.

Когда Патрик узнал, за что меня посадили, он заинтересовался моей историей с добродетельностью специалиста, наблюдающего за первыми неуклюжими попытками ученика. Едва я закончил свое бесхитрое повествование, он почесал мочку уха, изъеденную алой коростой. «Когда тебя увидел, я и не подумал бы, что ты способен на подобные штуки. Все правильно ты сделал. Это точно, отвечаю. Я бы его вообще убил».

Может быть, в конце концов я именно этого хотел и, по словам свидетелей, так бы и сделал, если бы шестеро решительных мужчин не объединились, чтобы удержать меня. По правде сказать, помимо того, что мне рассказывали, я особенно ничего и не помню по поводу самого происшествия. Моя память, казалось, полностью стерла все загруженные данные вплоть до момента, когда я очнулся в посленаркозной палате отделения «Скорой помощи».

«Да, бля, я бы убил этого гада! Из таких кишки надо выпускать». Его пальцы по-прежнему теребили горящее ухо, он тяжело переминался с ноги на ногу. Охваченный смутным гневом, Патрик был уже практически готов пройти сквозь стены. Чтобы завершить работу, которую я начал и, как он считал, запарол. Когда я видел, что он вот так ревет, расчесывая воспаленную кожу, я вспоминал знаменитое высказывание антрополога Сержа Бушара, специалиста по культурам американских индейцев: «Человек – это медведь, с которым что-то пошло не так».

Вайнона, моя жена, была индианка из племени алгонкинов. Я много читал Бушара, чтобы узнать о ней побольше. Я был тогда еще всего лишь невежественный и неуклюжий француз, который не имел почти никакого представления о способах установки вигвама, о священных и мистических правилах заготовки табака, о важной для понимания сути легенде о еноте, о преддарвинистском утверждении о том, что человек произошел от медведя, и об истории, которая объясняет, почему у карибу белая шерсть на горле.

В ту эпоху тюрьма была для меня всего лишь абстрактным, теоретическим понятием, злой шуткой судьбы, выкинувшей кости таким образом, что вам приходится некоторое время провести на поле «тюрьма» в «Монополии». И этот мир, пронизанный невинностью, казался незыблемым и вечным, как и мой отец, Йохан Хансен, играющий на струнах в сердцах людей

и на клавишах Хаммонд-органа в протестантском приходе, притоленном потоками благословенного асбеста; как Вайнона Мапаша со своей алгонкинской прелестью, выписывающая круги на самолетике-такси «Бивер», чтобы неспешно развести всех клиентов по побережью всех северных озер; как моя собака Нук, которая только-только родилась и смотрела на меня большими черными глазами, как на начало и конец всего сущего.

Да, я любил это время, уже давно прошедшее, когда трое моих родных покойников были еще живы.

Мне так хотелось бы вновь обрести сон. Не обращать внимания на крыс. Не чувствовать больше запаха немых мужских тел. Не слушать завывания зимы через стекло. Не заставлять себя есть бурю курицу, сваренную в жирной воде. Не бояться быть забитым до смерти за неосторожное слово или понюшку табака. Не быть вынужденным мочиться в раковину, потому что после определенного часа заключенные не имеют права спускать воду в унитазе. Не видеть ежедневно, как Патрик Хортон спускает штаны, садится на толчок и испражняется, рассказывая мне при этом о цилиндро-поршневой группе своего «Харлея», который, когда тормозил, «дрожал словно в лихорадке». Каждый сеанс дефекации он усердно трудится и одновременно общается со мной так спокойно и расслабленно, что создается впечатление: его мыслительный и речевой аппарат полностью отсоединен от ректальной деятельности. Он даже не пытается как-то модулировать звук выходящих газов. Завершая процесс, Патрик продолжает просвещать меня на предмет надежности современных моторов на так называемом сайлентблоке, то есть резинометаллическом шарнире, потом поправляет порты с видом человека, вернувшегося после трудного дня, и раскладывает на сиденье свежую незапятнанную салфетку, призванную служить стульчаком, что для меня в душе означает что-то типа «конец аудиенции» или «*Ite missa est*»¹.

Закрывать глаза. Спать. Это единственный способ выйти отсюда, спастись от крыс.

Летом, встав в углу того окна, что слева, я мог увидеть воды Ривьер-де-Пьери, несущиеся на полной скорости к острову Бурдон и к острову Бонфуан, чтобы влиться в реку Святого Лаврентия, которая их принимала гостеприимно и хоронила в своей толще. Но этой ночью ничего не было видно. Снег скрадывал все, даже мрак.

Патрик Хортон этого не знал, но в эти часы случилось, что меня навещали Вайнона, Йохан или Нук. Они входили, и я видел их столь же отчетливо, столь же детально, как тюремную убогость, въезшую в стены камеры. И они говорили со мной и были совсем рядом, совсем близко. С того момента, как я потерял их, они свободно перемещались в моих мыслях, чувствовали там себя как дома, жили во мне. Говорили то, что хотели сказать, занимались своими делами, пытались помочь разобраться в бардаке моей жизни и всегда находили слова, побуждающие меня в конце концов успокоиться и уснуть. Каждый как умел, своими способами, своими стараниями поддерживал меня, никогда при этом не осуждая. Особенно когда я попал в тюрьму. Они не больше моего понимали, что же на меня нашло и как так случилось, что жизнь порушилась в считанные дни. Да и приходили они не затем, чтобы раскапывать причины несчастья. Они просто пытались восстановить нашу семью.

В первые годы мне было ужасно трудно привыкнуть к той мысли, что теперь я живу вместе со своими умершими родными. Что я могу без малейшего усилия услышать голос отца, как в ту пору, когда я был ребенком, мы жили в Тулузе и мама нас любила. С Вайноной неловкость рассеялась очень быстро, поскольку она загодя ввела меня в этот загадочный алгонкинский инфрамир, в котором спокойно соседствуют живые и мертвые. Она часто говорила, что нет ничего более нормального, чем допустить для себя возможность диалога с усопшими, которые сейчас живут в другой вселенной. «Наши предки продолжают существовать, только по-дру-

¹ «С миром изыдем», можете идти, это конец службы (*лат.*).

гому. Поэтому их хоронят вместе с любимыми и нужными при жизни вещами, чтобы они могли по-прежнему заниматься привычной деятельностью». Мне очень нравилась хрупкая логика этого мира, пронизанного надеждой и любовью. Они отправляли на тот свет инструменты, которые при жизни здесь использовали их умершие владельцы, полагая, что там они смогут работать, и даже электроприборы непременно подойдут к напряжению и типу розеток невидимого мира. Что касается Нук, моей собаки, которая знала все о времени, людях и законах зимы и которая читала нас как открытую книгу, она просто приходила и ложилась рядом со мной, как всегда делала при жизни. Она нашла меня, не прибегая к помощи шаманов, лишь по одному воспоминанию о моем запахе. Прошла по сумеречной стороне и просто-напросто вернулась домой и легла возле меня, продолжив тем самым нашу совместную жизнь с того места, когда она была прервана.

Я был отправлен в тюрьму «Бордо» в тот день, когда в Америке избрали Барака Обаму, 4 ноября 2008 года. Это был для меня долгий и мучительно тяжелый день: меня привезли в здание суда, я ждал в коридоре начала заседания, потом предстал перед судьей Лоримье, который, несмотря на довольно доброжелательный тон при допросе, явно где-то витал, его одолевали сонмы каких-то посторонних мыслей; мой депрессивный адвокат вел дело просто фантастическим образом, называл меня «Янссен», придумал мне какое-то «скрытое шизоидное расстройство», одним словом, было похоже, что он дело впервые увидел на суде или готовился по материалам досье кого-то другого; бесконечное ожидание вердикта, который наконец пробубнил судья Лоримье, сразу же забыв об этом вместе со всеми остальными членами суда: мера наказания – два года лишения свободы; дорога из суда в узилище под проливным дождем, пробки, проезд в тюрьму, процедура идентификации, унижительный обыск, три сокамерника в комнате, просторной, как велосипедный гараж, «Заткни дышло, давай кочумай, поэт, да?», матрас прямо на полу, среди крысиных какашек, застоявшийся запах мочи, поднос с едой, бурая курица, черная ночь.

За месяц до того, как Барак Обама официально занял свои апартаменты в Белом доме, я тоже был переведен в мое новое обиталище, то самое «кондо», которое мы и поныне делим с Патриком Хортоном. Благодаря этому переезду я был вырван из ада, из алчного брюха сектора А, где насилие и агрессия наполняли все дневные часы, а иногда и ночные. Здесь хотя я и утомлялся от непрерывного потока слов и бурных эмоций соседа, но зато был защищен его авторитетом и мощью, и жизнь стала более сносной. И потом, когда я слишком уж уставал от себя и невыносимого гнета времени, достаточно было отрешиться и отдаться медленному и упрямому ритму тюремного расписания, подчиниться размеренной программе ее режима дня.

7.00, подъем, камеры открываются. 7.30, завтрак. 8.00, деятельность по секторам. 11.15, дневной прием пищи. 13.00, деятельность по секторам. 16.15, вечерний прием пищи. 18.00, деятельность по секторам. 22.30, отбой, камеры закрываются. Запрещается курить как внутри, так и на внешней территории заведения. Запрещенные предметы потребления: игровые приставки, компьютеры, мобильные телефоны, фотографии порнографического характера. Кровать должна быть заправлена до 8.00, уборка каждое утро до 9.00.

Меня охватывает очень странное чувство оттого, что я до такой степени управляем со всех сторон и при этом лишен какой бы то ни было ответственности. В течение двадцати шести лет в районе Ахунтсик, менее чем в километре от этой тюрьмы – для меня первое время очень мучительно было находиться так близко от дома, – я занимал весьма непростую должность суперинтенданта, то есть помесь консьержа с волшебником, фактотума, мастера на все руки, способного привести в порядок и наладить весь маленький мирок целиком – сложную систему, состоящую из кабелей, труб, соединений, отводов, колонок, сливов, регистрирующих приборов; маленький изменчивый мирок, который то и дело ломался, устраивал крушения и неполадки, летел псу под хвост, создавал проблемы и требовал много знаний, умений, опыта, наблюдательности и порой немного удачи. В здании «Эксцельсиора» я был чем-то вроде *deus*

ex machina, мне было доверено отвечать за обеспечение, содержание, контроль и функционирование этого жилого комплекса на шестьдесят восемь жилых владений. Все жильцы – собственники квартир, в их распоряжении сад с деревьями и цветником, бассейн с подогревом объемом 230000 литров воды, очищенной солью, безупречная подземная парковка с собственной автомойкой, спортивный зал, вестибюль с залом ожидания и стойкой ресепшена, комната для общих собраний, называемая «Форум», двадцать четыре видеокamеры и три вместительных лифта марки «Кон».

В течение двадцати шести лет я проделывал громадную работу, увлекательную и вместе с тем нескончаемую, практически невидимую глазу, поскольку состояла она исключительно в том, чтобы поддерживать нормальное жизнеобеспечение и бесперебойное функционирование коммуникаций для шестидесяти восьми помещений, которые изнашивались от времени и климатических явлений, а также устаревали. 9500 дней наблюдения, отслеживания, проверки, 9500 дней починки, налаживания, кружения по крыше, беготни по коридорам, 104 времени года, когда время от времени приходилось вдобавок к основным обязанностям помогать советом, утешать вдов, навещать больных или даже провожать покойников в последний путь, как пару раз бывало.

Я полагаю, что причины жертвенности и самоотверженности, которые мне приходилось проявлять все эти годы, чтобы поддерживать на плаву эту конструкцию, коренятся в воспитании, данном мне Йоханом Хансеном, по профессии протестантским пастором. Заниматься подобными вещами, прикладывая при этом большие усилия, скрупулезно вдаваться в детали, регулярно, внимательно и тщательно выполнять неблагодарные задачи, по-моему, было вполне в духе Реформации – таком, какой Йохан прославлял в своих храмах.

Я ничего не знаю о человеке, который сменил меня на посту, согласившись погрузиться во внутренности этой резиденции. Не знаю ничего и о том, что собой сейчас представляют потроха «Эксцельсиора». Знаю только, что очень скучаю по этому маленькому затейливому миру на шестьдесят восемь квартир, способному изобрести неисчислимое множество забот, поломок и загадок, с которыми приходится разбираться. Случалось мне разговаривать с вещами и машинами, и я даже осмеливался верить, что им иногда удавалось меня понимать. Сейчас мне остался только Хортон, его зуб и его рычаги, шатуны и поршни. Я, который так долго содержал весь «Эксцельсиор» и управлял им, поддерживая в безупречном состоянии, отныне вынужден довольствоваться умиротворяющим «режимом дня» моего нового обиталища. 8.00 – деятельность по секторам, 16.15 – вечерний прием пищи, 21.00 – рассказ о деятельности «Ангелов Ада», 22.30 – отбой, камеры закрываются.

Сегодня утром, едва проснувшись, Патрик позвал охранника и попросил назначить ему прием у дантиста. Боялся он этого больше, чем вооруженного налета «Бандидос». Ночью щека раздулась, и боль стала нестерпимой. Он метался взад-вперед по камере, как насекомое, которое пытается выбраться из бокала. «А тебя не затруднит убрать сегодня утром мою кровать? Мне правда так плохо от этого зуба. Я унаследовал это от отца. Тоже страдал кариесом. Генетика, судя по всему. Что? Да откуда я знаю, не доставай меня своими долбаными вопросами, сегодня не тот день. Сраная сука зубодер. И притом говорят, что у него рожа, как у Николсона в том фильме про психов. Который час? Этот придурок, наверное, сейчас у себя дома дронит перед тарелкой с говенным корнфлексом. Хочу тебе сказать про этого Николсона сраного, в его интересах полечить меня по первому классу, а не то, уж поверь, я ему кишки выпущу, сукиному сыну. Который час? Вот бардак!»

Для Патрика, особенно в моменты зубной боли, весь мир делится на две категории людей, сильно между собой разнящиеся. Первая – те, кто понимает и ценит вокальные способности коленчатого вала «Харлея – Дэвидсона». И вторая, более многочисленная, – обыватели, тупицы с пластмассовыми мозгами, которым надо «выпустить кишки».

Через два часа у меня будет свидание с неким Гаэтаном Броссаром, чиновником уголовно-исполнительной системы, в обязанности которого входит расследование дел о сокращении срока тюремного заключения, перед тем как они будут переданы судье. Я уже раньше встречался с Броссаром – месяца три-четыре назад. В его внешности было что-то успокаивающее, вызывающее доверие, а скульптурно вылепленная физиономия (он напоминал Вигго Мортенсена) окончательно убеждала, что он создан для доброжелательного и справедливого контроля над решениями.

Наша первая встреча длилась недолго. Он даже не открыл папку, в которой документы и материалы суда.

«Наша сегодняшняя встреча носит абсолютно формальный характер. Рассматривайте ее просто как первую попытку наладить контакт, господин Хансен. В свете тяжких проступков, которые вы совершили, мне, к сожалению, невозможно произвести рассмотрение прошения о вашем досрочном освобождении, даже при условии постоянного контроля с нашей стороны. Давайте увидимся через несколько месяцев, и если отзывы о вашем поведении будут благожелательными, мы сможем, вероятно, что-нибудь обсудить».

Броссар не изменился. Я заметил одну деталь, которая от меня в прошлый раз ускользнула. Гаэтану свойственно в те моменты, когда он не говорит, обнюхивать кончики пальцев. С каждым вдохом его ноздри расширялись, а затем словно успокаивались, распознав знакомые флюиды и эманации, и затем принимали привычную форму.

«Буду с вами совершенно откровенным, месье Хансен. Отзывы вы получили превосходные, и в соответствии с ними я должен передать ваше досье судье, высказавшись положительно. Однако прежде всего вы должны убедить меня, что осознали всю тяжесть вашего проступка и что теперь, в трезвом уме и твердой памяти, вы сожалеете о нем. Сожалеете ли вы о нем, месье Хансен?»

Без сомнения, мне следовало сказать то, что он ждал от меня, рассыпаться в извинениях, уверить, что испытываю страшные угрызения совести, исполнить ритуальный танец раскаяния, признаться, что все, произошедшее в тот день, для меня совершенно необъяснимо, попросить прощения у жертвы за все причиненные мной муки и в конце всего этого действия покаянно склонить голову с выражением невыразимого стыда.

Однако ничего из этого я не сделал. Ни слова не вырвалось из моих губ, лицо мое осталось столь же бесстрастным, как железная маска, более того, я едва сдержался, чтобы не признаться Вигго Мортенсену, что искреннее всего на свете я сожалею о том, что у меня не оказалось достаточно времени или побольше сил, чтобы переломать все кости этому омерзительному, самовлюбленному и подлому типу.

«Должен признаться, я ожидал от вас совершенно другого, месье Хансен. Более соответствующей обстоятельствам реакции, так сказать. Честно могу сказать, когда я читал ваше дело, когда изучал ваш жизненный путь и ваше прошлое, для меня было очевидно, что вам здесь не место. Однако я опасаюсь, что вследствие вашего нежелания осознать свою ошибку вы будете вынуждены провести здесь еще некоторое время. Это очень прискорбно, месье Хансен. Каждый день, проведенный в этой тюрьме, является для вас уже лишним. Ждет ли вас кто-нибудь там, за ее стенами?»

Ну как ему объяснить, что в этот самый момент никто на воле меня не ждет, но, наоборот, в той комнате, где мы с ним разговариваем, рядом со мной Вайнона, Йохан и Нук, и они терпеливо ждут, когда же этот человек уйдет. Я даже ощущаю их дыхание.

Патрик возвращается из зубоврачебного кабинета – он подтирает розовую слюну бумажным платочком и его пока еще не отпустил наркоз. Судя по всему, встреча с Николсоном плохо кончилась.

«Этот говнюк вырвал его. Знал ведь я, бля, предупреждали. Но этот хрен не оставил мне выбора. Он сказал, что не может ничего сделать, чтобы спасти мой зуб, и что вдобавок у меня огромный абсцесс. Показал мне какую-то херню на рентгене и сказал: «Вот здесь, видите, какой очаг инфекции». Не гундось, сказал я ему, делай что нужно, но предупреждаю – если ты сделаешь мне больно, ты труп. Тем количеством, которое он вкатил мне в десну, можно было усыпить целую гребаную деревню, где я родился. Сам понимаешь, хрен его знает, когда я выйду, но как только окажусь на воле, найду этого сукиного сына и выпущу ему кишки».

На эту ночь синоптики пообещали температуру минус 28 градусов, по ощущениям 34, с учетом ветра. Через четыре дня уже 25 декабря. Николсон будет праздновать Рождество в окружении всей своей семьи, у всех членов которой по два ряда безупречных, белоснежных, заботливо отполированных зубов. Младшая еще ходит к ортодонту и носит брекеты, и мать пообещает ей, что это последняя зима, которую она проведет со всеми этими железками во рту. Множество шариков и забавных светящихся гирлянд будут мерцать и переливаться в его доме, как и во всех других домах города, большие магазины станут распространять рождественские открытки с историями, чтобы втюхивать кредитные карты, и в непостижимом балете все ненужные и надоевшие штуки, извлеченные из небытия лишь затем, чтобы в него вновь уйти, будут переходить из рук в руки, а в это время из всех радиоточек по случаю будет умирно звучать «*All I Want For Christmas Is You*».

А здесь с наступлением ночи полуниций пастырь в поношенном облачении прибежит, чтобы второпях прочитать обязательную мессу для любителей преклонять колена, и, сам в это не веря, пообещает, что каждый некогда воссядет по правую руку от Создателя, а потом поскорее скроется, чтобы на клиросе с наслаждением вдыхать детский невинный запах мальчиков из хора.

Что касается нас, неверных и нечестивых, мелких жуликов и закоренелых преступников, мы получим право на дополнительную порцию бурой курицы в собственном соку в сопровождении порции просроченной тягучей жидкости на основе кленового сиропа. Принимаясь за еду, я с серьезнейшим видом пожелал Патрику счастливого Рождества. Пережевывая убиенную птицу, он ответил мне: «Отвяжись от меня с этой своей херней».

Скаген. Церковь, занесенная песком

Я родился в Тулузе 20 февраля 1955 года, примерно в 10 часов вечера, в клинике Тентюрье. Меня отнесли в палату. Там два человека, которых я никогда до этого не видел, смотрели, как я сплю. Молодая женщина, которая лежит на кровати рядом со мной, казалось, только что пришла с вечеринки; она потрясающе хороша собой, непринужденно улыбается, вид у нее оживленный и бодрый – казалось, ей нипочем тяготы родов. Это Анна Маргери, моя мать. Ей двадцать пять лет. Человек, сидящий рядом с ней, старается не слишком опираться на бортик кровати: угадывается, что он высокого роста. У него светлые волосы, голубые прозрачные глаза, на лице доброжелательное и кроткое выражение. Это мой отец, Йохан Хансен. Ему тридцать. Оба кажутся довольными исходным изделием, вовлеченным в обстоятельства, последствия которых, возможно, они себе даже не представляют. Но, во всяком случае, они уже давно выбрали мне имена. Я зовусь Поль Кристиан Фредерик Хансен. Получилось совершенно по-датски. Но в силу крови, места рождения, всего чего хотите – и в первую очередь случая, я тем не менее становлюсь по национальности французом.

Йохан, как и его четверо братьев, появился на свет в Ютландии, в Скагене – маленьком городке с восемью тысячами обитателей, расположенном в самой северной части Дании. Люди в нем с самого рождения говорят исключительно о рыбе. Хансены, потомственные рыбаки, немало способствовали процветанию этого крохотного городка, который, казалось, цепляется за землю, чтобы его не унесло по морю к не столь отдаленным берегам соседних стран: к городу Кристиансанн в Норвегии или к Гетеборгу в Швеции. Мир стал изменять свои привычки и приоритеты, и некоторые из братьев Хансен приспособились к новым обстоятельствам, продали свои рыболовные суда и занялись производством и переработкой, но старший, Тор, по-прежнему лавировал меж подводных скал в этих опасных водах, на которые туристы обожают любоваться с вершины Гренена в те моменты, когда, в жесточайшую непогоду, просыпается старинная вражда между течениями Балтийского и Северного морей.

Йохан принадлежал к очень небольшой части клана Хансенов, ветка называлась «Der bøg I landet», что означает «Те, кто живет среди земель». Очень рано мой отец повернулся спиной к морю, предпочтя свет ученья и отправившись в единственный источник онога на всем нашем полуострове, так привлекавшем самых знаменитых художников страны, которые создали знаменитую школу Скагена. Скагенские художники жили здесь и работали, писали местные пейзажи, мужчин и женщин за работой, бурное Северное море, корабли на Балтике, ничего особенного, такого, чтобы в мгновение ока растворить двери музеев или поколебать каноны изобразительного искусства. Просто красивые картины, добросовестно сработанные, созданные для местных жителей, которым этого было вполне достаточно.

А отец, мало того что выходец из «тех, кто живет среди земель», еще и к двенадцати годам проникся религией и решил стать пастором, а это был вид спорта, совершенно не практикуемый в семье Хансенов. Гораздо позже он рассказал мне о довольно странных событиях, которые послужили причиной такого выбора. Это история о песке, о зыбучем песке, который сдвигают время и ветер.

На крайнем севере полуострова, немного в стороне от города, в нескольких шагах от моря, в XIV веке была построена церковь Святого Лаврентия, покровителя моряков. В высоту она достигала 45 метров, включая сводчатый неф с колоннами и башню со ступенчатым фронтоном высотой 22 метра. Внутри были 38 рядов скамеек. В общем, это было внушительное здание, самое большое во всей Ютландии. Открытое всем штормам и ураганам, соленым брызгам и шквальным ветрам, здание очень быстро начало страдать от морской болезни – только на суше. К 1770 году песок постепенно засыпал паперть, потом неф; прожорливые дюны день за днем грызли и подтачивали инородное тело. В 1775 году страшная буря закупорила все

выходы, и местные жители вынуждены были прокапывать в песке галереи, чтобы получить возможность проникнуть в храм и совершить там религиозный обряд. Они делали так раз за разом еще в течение двадцати лет, расчищая стены и двери. Но ветер все дул, дул неустанно, и песок скапливался вокруг здания. И вот однажды Бог понял, что устал бороться, и признал свое поражение: духовенство приняло решение закрыть храм, предварительно распродав все его имущество с молотка. В настоящее время здание почти полностью ушло в песок. На поверхности среди дюн виднеется только верхняя часть колокольни длиной восемнадцать метров.

Так вот, вид этой захороненной церкви, этого обломка крушения веры, вызвал у отца желание стать пастором. «Ты понимаешь, в то время у меня не было никакой веры, я даже толком не знал, что это означает. Я ощутил просто какой-то порыв, чисто эстетический, перед этим уникальным в своем роде, потрясающим зрелищем, которое можно увидеть только раз в жизни. Словно вошел в полотно художника Скагенской школы. Если бы в этот самый день на этом самом месте я увидел занесенный песком вокзал, от которого на поверхности земли осталась бы только башенка с часами, я бы, возможно, впоследствии стал железнодорожником». Таким уж был мой отец, хоть и «bør I landet», конечно, но вечно плавающий в океане сомнений, то увлекаемый незримым парусом покинутой церкви, то восхищенный суровой и полной приключений жизнью железных дорог.

Анна Мадлен Маргери, моя мать, два раза посетила Скаген. Она познакомилась там со всем племенем Хансенов, мужчин и женщин, одинаково крепко сколоченных, способных на протяжении веков выносить все тяготы здешнего климата. Для нее готовили камбалу с крыжовником, клюквенный компот, копченых угрей, прамдрагергид – рагу с филе, беконом и грибами, она попробовала выпить немного настойки аквавит и, конечно, совершила паломничество к захороненной церкви, где сфотографировала отца с остальными Хансенами на фоне ее еще не ушедшей в землю колокольни. На обратной дороге она рассказала отцу, какие чувства испытала при виде этого сакрального остова, торчащего из земли. «Как у тебя могло появиться желание стать священником после того, как ты увидел подобную штуку? Ведь она внушает представление о бессилии, заброшенности, убогости, о капитуляции Бога и Церкви. На твоём месте я бы присоединилась к братьям, женилась бы на местной женщине, похожей на них, и посвятила бы жизнь перемалыванию рыбы в мелкую пыль». И вроде бы, как рассказывала потом Анна, после этих слов отец поник головой, задумался и потом со своей вечной пасторской улыбкой доверительно признался: «Я во всем с тобой согласен, кроме одного пункта: насчет жениться на женщине, которая похожа на моих братьев».

Анна Маргери родилась в Тулузе. Ее родители, которых я никогда в жизни не видел, держали маленький кинотеатр, который они скромно окрестили «Спарго», что по латыни означает «я сею», который в ту эпоху показывал все новинки артхауса и где демонстрировались только так называемые «достойные» фильмы, как, например, «Голубой Голуаз»², «Фотоувеличение», «Теорема» или «Забриски Пойнт». Проникнувшись с детства всеми подобными образами, воспитываясь в круговороте нескончаемых титров, исполненной особого смысла музыки, слишком страстных поцелуев, заумных рассуждений и таинственных непонятных сюжетов, моя мать стала ходячей кинематографической энциклопедией, знала все тайные уголки, все трещинки этого мира; она способна была ответить на вопрос, кто монтировал фильмы Пабста, с каким композитором работал Хоукс и кто был ассистентом по свету у Эпштейна. В целом она даже больше интересовалась различными кинопрофессиями, режиссерами, операторами, продюсерами, чем слишком банальным, слишком предсказуемым актерским мастерством.

² В русском прокате фильм назывался «Легкие Голуаз», что, скорее всего, сомнительно: у этой фирмы синяя пачка у крепких, красная – у легких, а голубая – у «Голуаз» без фильтра.

Тогда, в апреле 1960 года, семья Хансен представляла собой нечто прекрасное и весьма соответствующее той эпохе. Муж, внимательный, спокойный, уравновешенный, невероятно обаятельный, говорящий на безукоризненно правильном французском с легким забавным северным акцентом, устроился на работу вторым пастором в старинный храм на улице Паргаминьер и добивался успеха как своими проповедями, так и служением. Жена, очевидно, сильно влюбленная в супруга, соединяла замечательную внешность (люди часто говорили, что она потрясающе красива) с очарованием незаурядного интеллекта; она делила свое время между воспитанием сына и прокатом шедевров кинематографа, поскольку в тот момент уже управляла кинотеатром вместе с родителями. Что касается юного Поля Кристиана Фредерика, который еще нетвердо держался на тоненьких ножках, он делал в назначенное время то, что его просили сделать, осваивал список необходимых для поведения в обществе ритуалов и каждое воскресенье сопровождал отца в храм, чтобы выслушать, как он разглагольствует о путях этого мира и его греховных слабостях.

Единственным недостатком этого семейного портрета, который, без сомнения, не обошла бы вниманием Скагенская школа, был тот момент, что мать, абсолютно наглухо закрытая к вопросам церкви и веры, не принимающая даже самую идею греха и искупления, ни разу ни ногой не ступила на освященную землю храма. С какой стати тогда она согласилась разделить судьбу с молодым протестантским пастором? Когда, много лет спустя, я стал расспрашивать ее об этом, я всегда добивался лишь одного, загадочного для меня ответа. Она уверенно заявляла: «Твой отец так красив...»

Иногда она начинала нервничать, за столом повышала голос, и тогда отец обращался к ней с одной из своих любимых занудных мантр, на которые был так щедр: «Ну разве не могла бы ты прожить какие-то несчастные несколько часов во благе истинной веры!» Уже много времени спустя я понял, что могла испытывать Анна Мадлен. Эта невыносимая приторная доброжелательность, этот медовый, ровный, снисходительный тон... она в ответ могла ответить лишь: «Ну как ты можешь нести такую ахинею?»

Я искренне считаю, что на этой первой своей должности, пытаюсь завоевать симпатии прихода и стремясь понравиться абсолютно всем без исключения, пастор Хансен, мой отец, проявлял формализм, был донельзя банальным и фальшивым проповедником, мыслил узко и изъяснялся до жути невыразительно. Но разве кто-то на самом деле требовал от него чего-то иного?

Я могу сказать, что в эту эпоху, несмотря на все маленькие бытовые разногласия, родители были счастливы в совместной жизни. Я никогда не понимал и не понимаю до сих пор, откуда у них взялась эта природная духовная общность. Хотя я часто задавал вопросы, про которые быстро стало понятно, что они вызывают лишь смущение и неловкость, я так и не сумел узнать, ни где, ни при каких обстоятельствах они познакомились, ни какая затейливая прихоть судьбы свела в любовном порыве уроженца Скагена, выдернутого из глубины зыбучих песков, и жрицу элитного кинематографа, которые смогли преодолеть в 1953 году расстояние 2420 километров, перескочить языковой барьер и потом в полную силу наслаждаться удивительным трюком, которые они проделали с жизнью.

Пятью годами спустя, в 1958 году, смерть впервые вмешалась в дела нашей семьи. Летней теплой ночью, получив удар страшной силы, черный «Ситроен» DS 19, принадлежащий родителям Анны, разбился на одной из самых прекрасных автомагистралей Франции, южной дороге, обсаженной величественными платанами, куполообразные кроны которых образуют естественный полог, одновременно легкий и надежный.

Бабушка и дедушка возвращались с городского фестиваля в Лозанне. В вечерней духоте, таящейся в башенках и старых стенах, они посмотрели масштабное действо, «Песнь о Роланде» в 9000 стихов, поставленную и исполненную Жаном Дешамом. «Король наш Карл, великий

император, Провоевал семь лет в стране испанской»³. Может быть, когда они умирали, эти слова, застрявшие в памяти, звучали в их головах, эти фразы стучали в висках от мощных ударов, отражались от стенок черепной коробки, повторяясь, как на заедающем диске.

В час ночи зазвонил телефон, и волна боли и горя мгновенно заполнила квартиру. Естественно, что обо всем я помню только из рассказов родителей, потому что в моей собственной памяти не осталось ни картинки, ни характерного звука, никакого следа этих событий, потрясших нашу жизнь.

На пороге Науруз, в месте, где разделяются воды Южного канала, «Ситроен» потерял управление, слетел с дороги и врезался в платан. Машина буквально взорвалась, крыша улетела на соседнее поле, а тела моих дедушки и бабушки отбросило на другую сторону автомагистрали.

В этом месте, где воды каналов впадают в разные моря, в этом пункте водораздела разных миров, есть два огромных камня, между которыми всего каких-то несколько сантиметров. Существует легенда, что когда эти две скалы соединятся, наступит конец света.

В эту ночь они стояли на месте, сохраняя между собой прежнее расстояние, однако для семьи Маргери наступил конец света. Они были похоронены по католическому обычаю после заупокойной службы, проведенной в соборе Сент Этьен в Агде. Отец, конечно, присутствовал на службе, конечно, был торжественен и взволнован, но бдителен, и отметил про себя пышность и помпезность церемонии, хитрые уловки литургии и прочие фокусы конкурирующей фирмы.

«Спарго» потерял своих создателей, но зато получил новую руководительницу, мою мать, которая готова была все свое время отдавать работе и вписать новые славные страницы в историю кинотеатра.

Год 1958-й был удачным для «Спарго». «Мой дядюшка», «Головокружение», «Печать зла» и «Кошка на раскаленной крыше» обеспечивали заполняемость залов неделями подряд, и зрители великодушно не обращали внимания на вытертый бархат кресел и жесткость подлокотников. Анна установила новый кинопроектор «Филипп» с ксеноновой лампой, улучшенную систему звуковоспроизведения и экран с высокой отражающей способностью. Таким образом, кинотеатр стал гораздо лучше с точки зрения технического оснащения. Пришло время позаботиться о внешнем виде.

Под натиском маленьких кинотеатров культовые учреждения отступили, им становилось все тяжелее. Мир менялся, и хотя процесс этот только начался и основные преобразования были еще впереди, отцу приходилось неустанно трудиться, постоянно переписывать свои проповеди, чтобы удержать аудиторию, которая готова была экспериментировать и открывала для себя другие развлечения, менее пристойные и более терпимые к недостаткам.

К тому моменту, когда мне исполнилось десять лет, любой сколько-нибудь внимательный человек мог уже услышать треск – это рушились основы старого мира. Мы жили возле Гаронны, на набережной Ломбард, в старой квартире со сферическими потолками. Большие окна с деревянными жалюзи открывались на реку, цвет которой менялся в зависимости от погоды и времени года.

Летом старые платаны затеняли вечернее небо и ночью до нас едва доносился шум реки. Колледж Пьер-де-Ферма находился не слишком далеко от Гаронны и от нашего дома, но, как мне казалось, слишком уж близко к храму, где служил мой отец. Меньше всего на свете мне хотелось бы, чтобы люди узнали, что этот здоровенный плейбой в строгом пасторском сюртуке цвета маренго, мелькающий на пороге странной церквушки на перекрестке, и есть мой отец. Для всех в колледже он был «импортером рыбной муки». Аминь.

³ Перевод Ю. Корнеева.

Я признался ему в этой маленькой лжи и попросил не опровергать ее, если ненароком его кто-то спросит об этом. «Ты не должен стыдиться профессии отца. В этом нет ничего позорного. Наоборот. В Дании дети священников гордятся своими отцами».

С этого дня всеми делами, связанными с моим обучением, стала заниматься мать, и только она встречалась с преподавателями, если возникали какие-то вопросы. Йохан же никогда не возвращался к этому разговору. Но как-то вечером я нашел на письменном столе записку от отца, адресованную мне. Я был еще довольно мал и, прочитав ее, испытал противоречивое чувство, какую-то неявную грусть, причину которой не смог понять. Аккуратным почерком отца было написано: «Я всего лишь маленький мальчик, который забавляется, и в то же самое время протестантский пастор, который скучает. Андре Жид».

Тридцать первого декабря в 20 часов среди двух соперничающих кланов заключенных произошла жуткая свара в коридорах нашего отсека, и нас всех было приказано запереть по камерам. В главный двор тюрьмы впустили медиков, чтобы забрать в больницу двух особенно воинственных бойцов, получивших тяжелые ножевые ранения. Даже те небольшие праздничные мероприятия, которые были намечены на предновогодний вечер, естественно, отменили.

В полночь, когда большая часть заключенных уже улеглись по кроватям, вдруг откуда-то издали послышался глухой звук: кто-то долбил металлическим предметом в дверь камеры. Это был тяжелый, монотонный, мощный шум, эхом отдающийся в пустых коридорах. И вот уже в другой камере подхватили и тоже начали стучать, а потом и в третьей. Буквально за минуту весь сектор поддержал инициативу, а потом присоединились и все остальные отделения тюрьмы. Словно огромное металлическое сердце билось, и стук его возносился в небо. Рождественский хорал проклятых. Я никогда в жизни не слышал ничего подобного. Патрик, похожий на обезумевшего дьявола, опьяненный собственной мощью, пытался пробить эту прочную преграду, твердо зная при этом, что она устоит. Он пристально смотрел на нее, улыбался ей и обрушивался на нее изо всех сил. Оттого, что он творил, от мощного гула и возбуждения вокруг у меня по спине бежали мурашки. По правде сказать, мы дружно стучали, пытаясь сокрушить очень многое в нашей жизни. Сокрушить страдания, которые выпали на долю каждого из нас. Сокрушить людское презрение, которое мы вынуждены были терпеть. Разлуку с семьями, друзьями, любимыми людьми. Равнодушие и несправедность судей, невнимательность и торопливость дантистов, вообще весь этот не поддающийся четкому определению мир, которому Патрик Хортон собирался рано или поздно «выпустить кишки». И в эту первую ночь 2010 года мы просто-напросто стали дикой ордой барабанщиков, сидящих в клетках в прожорливом брюхе этой вмерзшей в лед тюрьмы на берегу вставшей подо льдом реки.

Мало-помалу, словно чья-то невидимая рука медленно опускала регулятор уровня громкости, грохот стал стихать, пока окончательно не растворился в непроглядной ночи.

В эту ночь не было никакого общего собрания. Охранники сидели у себя, а мы были наедине с отмеренным наказанием. Вот и год прошел.

Сегодня 3 января 2010 года. Завтра будет уже четырнадцать месяцев, как я заперт в этом здании. Патрик рисует. Со спины он похож на огромного ребенка, склонившегося над своим творением, с великим тщанием пытающегося передать фрагмент нашего мира во всем многообразии форм и красок. Патрик часто садится рисовать. Наивные композиции, пейзажи, лица и, конечно же, мотоциклы, которые он старается изобразить максимально реалистично. Иногда, как школьник, он переводит на кальку какую-нибудь картинку и потом час или два подряд раскрашивает ее цветными карандашами. С одной стороны, трогательное зрелище – гигант-убийца, проявляющий свои лучшие человеческие качества в полудетском творчестве, но при этом я вижу в нем напоминание о загадочных и страшных извивах человеческой души.

– Я тут опять думал о твоей недавней истории с психологом. Ты неправильно себя повел. – Старательно обводя контуры рисунка на листочке, Патрик инструктирует меня, как

вести себя с ассессором. – Это же несложно, в конце концов. Говоришь ему то, что он хочет услышать. Всякие простые, понятные вещи. Жуть как сожалею о том, что я сделал. Признаю, что перешел все возможные границы. Мое поведение непростительно. У меня были суперские родители, которые меня совсем не так воспитывали. Знаете, я думаю, тюрьма пошла мне на пользу. Я научился здесь уважению к людям и вообще мне здесь открыли глаза. Думаю, я готов выйти на волю и заняться какой-то достойной деятельностью. Мне бы очень хотелось стать водителем автобуса. Если тебе не нравится автобус, можешь заменить чем ты там хочешь. Нужно только, чтобы этот крендель успокоился, чтобы понял, что видит тебя насквозь, знает как облупленного, что ты готов к труду и обороне. Врубаешься? Нет ничего проще, просто усвой правило: ты должен его убедить, что камень за пазухой не держишь. Кинь мне ластик, а? Бля, как начинаю говорить, захожу за край.

Если сложить все сроки, Патрик Хортон за свою еще достаточно недолгую жизнь провел за решеткой более пяти лет. Что касается меня, мне все равно, сколько я тут посижу. Два года тюрьмы за то, что я совершил, кажется мне вполне адекватным наказанием, вполне соответствующим моему проступку. Который нельзя назвать, как я считаю, ни тяжким, ни вполне невинным. Но в моем случае одно важное обстоятельство мешает воспользоваться добрым советом Хортона. Насколько легко мне было бы искренне раскаяться и осудить такое действие, если бы оно было направлено на какого-то произвольного гражданина Икс, настолько же уместным оно кажется мне по отношению к той жертве, против которой я его направил. Для ассессора, не для ассессора – этому человеку не будет ни прощения, ни пощады.

От болезненного абсцесса Патрика осталось одно воспоминание. Но каждый вечер, перед тем как почистить зубы, он показывает мне дыру в десне, оставшуюся после удаления.

– А вот интересно, где сейчас этот долбаный зуб. Мой все-таки зуб, как-никак. Хоть и сгнивший, но мой все же. И потом, на нем была коронка. Этот коновал должен был мне его вернуть. Эта керамическая хрень мне в копеечку влетела. Они ведь могут ее использовать, чтобы починить другой зуб или еще чего-нибудь сделать. Что ты на это скажешь?

Я очень люблю Патрика. Но он совершенно непредсказуем и может время от времени нести какую-нибудь бессмыслицу или делать совершенно дурацкие предположения. За несколько дней до Рождества я видел, как он вел долгую серьезную беседу с одним из наших охранников (который, кстати, по всей очевидности придерживался такого же образа мыслей) про какого-то своего друга, который способен гнуть вилки на расстоянии. Он изображал эту сцену в лицах (и слушатель, казалось, верит каждому его слову) так, словно собственными глазами видел, как столовый прибор, лежащий на столе, скручивается, как спагетти.

– Это называется психокинез. Я про это изучал всякие свидетельства. Мой друг уже долгие годы этим занимается. Вообще-то он не способен перемещать предметы так, чтобы они двигались туда-сюда. Это для него невозможно. Но вот согнуть может все, что угодно. Ну не все, вещь должна быть не слишком толстая. Но вот ложка или вилка – запросто. А отвертку, к примеру, уже не согнет. Ух, я много раз видел, как он пытается сосредоточиться на этой долбаной отвертке. Мог так глядеть час, даже два. Хоть бы что. И вдобавок он потом был весь в поту, выглядел выдохнувшимся и измученным. В итоге жена просто стала прятать от него отвертки. А я читал, что в Индии был такой же чувак, как он, так он мог усилием воли открывать дверцу холодильника и заставлять крутиться колеса велосипеда.

Со временем я как-то привык, приспособился к этим вспышкам хортоновской научной мысли, к этим непредсказуемым откровениям, которые появлялись ниоткуда и могли точно так же неожиданно затихнуть без соответствующей поддержки или наличия благодарного слушателя.

В это время года темнеть начинало в 16.30. Примерно тогда нам и подавали нечто вроде незатейливого ужина. Мы молча ели, а потом наступала сумрачная и грустная пора, когда каждый замыкался в себе. Это было худшее время дня, этот ранний вечер, когда на воле люди,

наоборот, веселые и довольные, раззадоренные снежком и холодом, возвращаются по домам. В «Эксцельсиоре» в это время я обычно заканчивал все дела и шел домой, где дожидался возвращения Вайноны. Потом мы, как правило, шли выгуливать Нук в парк Ахунтсик. Свободные от любого принуждения, мы испытывали ощущение, что плаваем в пространстве, что полностью и безраздельно распоряжаемся нашими жизнями, что на каждом шагу выделяем молекулы счастья, а собака тем временем закутывала свою белую шкуру в снежный кокон. Иногда я закрываю глаза и воспроизвожу в памяти эти прогулки по райскому саду, но каждая попытка заканчивается тем, что буйные и дикие голоса, доносящиеся из коридоров и соседних камер, обрушивают терпеливо возводимую хрупкую конструкцию, которую старается создать моя память. Именно тогда ты осознаешь, в какой мере пребывание в тюрьме является наказанием. Хроническая невозможность отрешиться, уйти, даже если это воображаемая прогулка в сопровождении мертвецов.

Я уже говорил, что им удавалось навещать меня здесь. Но ни разу не получилось встретиться с ними за пределами тюрьмы.

Это был час Патрика, этот обыденный ритуал, к которому я никак не могу привыкнуть. Он откидывает ткань, которая накрывает унитаз, снимает штаны и пристально смотрит на меня, одновременно при этом тужась так, что надуваются вены на лице. Звук падающей в глубокую воду крупной гальки знаменует конец первого облегчения.

– Я так и не выяснил, когда предстану перед судом за эту историю. Думаю вот, не сменить ли мне адвоката. Тот, который сейчас, мне не нравится. Такой стиль бойз-бенда, мокасины с кисточками. Вот клянусь тебе! Последний раз этот мудила предстал перед судьей вот в этих самых мокалинах и носочках, как у чирлидеров.

Наступившая тишина предвещает второй этап, он тужится, камушек падает, Патрик в поту, но лицо выражает расслабленность и покой.

– Уволю этого типа, я его не чувствую. Нет, такому человеку, как я, нужен крутой чувак, такой типа мафиози, который как только в зал заседаний зайдет, так судье и ясно становится, чего он стоит. Ну представляешь, такой брутальный чувак, типа Хавьера Бардема, ну или какой-нибудь похожий... Ну, к примеру, Томми Ли, не знаю... Что-то вроде. Не тот педик в шузах с кисточками.

Патрик встает, заглядывает себе за спину, удостоверяется в подходящем качестве произведенных камушков, включает механизм спуска воды, и маленькая лавина уволанивает камушки-близнецы в коммунальную бездну забвения.

Сидя на краю своей кровати, я пытаюсь думать о чем-нибудь другом, забыть об этих нарушениях внутреннего пространства, которые нам навязывают здесь и к которым Патрик, кажется, уже привык. Я пытаюсь убедить себя, что все это в конце концов кончится и что при следующей встрече мне достаточно просто ответить на несколько сложных вопросов в опросе и потом, с безмятежностью фарисея, изобразить максимально прочувствованное Confiteor⁴.

А покамест я смотрю на Хортон, который вновь накрывает белой тканью унитаз. Я хотел бы к этому привыкнуть. Но у меня не получается. Хоть и времени много прошло, невозможно привыкнуть, и все тут.

В коридорах опять что-то происходит. Шум, какая-то суматоха, яростные крики, оскорбления, но потом воцаряется спокойствие. Ночное время и препараты класса бензодиазепинов постепенно начинают делать свое дело. Чрево тюрьмы принимается за неспешный процесс пищеварения, и вскоре на время недолгой ночи все живущие здесь люди сольются в коммунальную бездну забвения.

⁴ Краткая покаянная молитва.

Пастор в сомнениях

Под влиянием, полагаю, бунтарского духа эпохи, отец купил в 1968 году странную машину, снабженную мотором нового типа с прямо-таки революционной концепцией, причем в эйфорическом порыве это чудо было выбрано «автомобилем года». Двухдверный седан NSU Ro 80 (Ro и означало это самое Rotacionskolben) был семейным автомобилем, снабженным роторно-поршневым блоком Comotor – первым двигателем такого рода, выпущенным в серийном масштабе. Пастор, соблазнившись модной механической инновацией, купил эту немецкую четырехдверную машину для уютного и комфортного размещения своей семьи, хотя вполне мог бы обойтись более скромным ковчегом и менее авангардной технологией. Может быть, у Йохана в голове еще жила идея расширить круг своих потомков и способствовать более активному распространению фамилии Хансен в юго-западном регионе. Как бы там ни было, невзирая на удивительную вместимость, эта роторно-поршневая новинка оказалась полным кошмаром и предоставила длинный список неожиданных и разнообразных поломок двигателя. Эта модель, Ro 80, предназначенная явиться символом торжества техники будущего, постепенно умерила свои претензии ввиду падения роста продаж, а некоторое время спустя привела к краху и полному исчезновению марки NSU, которая была куплена фирмой «Ауди». Во всяком случае, появление в нашей семье такой прославленной, но бестолковой машины совпало с ухудшением отношений между отцом и его женой. И при этом между пастором и его Церковью.

На протяжении всего лета 1968 года «Спарго», которому в конечном итоге подлатали фасад, существовал в живой атмосфере бурлящей эпохи. Подобно другим социальным явлениям, замкнутый мирок кинематографа был увлечен освободительным торнадо, сметающим дух прошлого, пронесшимся по заводам, университетам и проспектам старого мира, еще скованного предрассудками. Слушая выступления Годара, призвавшего саботировать Каннский кинофестиваль и рассуждающего о различных формах классовой борьбы, моя мать, Анна Маргери, включилась в борьбу за независимый кинематограф, перекроила программу кинотеатра и открыла двери «Спарго» всевозможным организациям и ассамблеям, организуя дебаты на разнообразные темы, общего у которых было только, что все они заканчивались глубокой ночью, потной и дымной от обилия конструктивной критики.

В предвечерние часы Анна устраивала просмотры лучших фильмов года: «Ребенок Розмари», «Вечеринка», «Космическая Одиссея 2001 года», «Украденные поцелуи», а совсем вечером на сцене появлялись Маркс, Ленин, Троцкий, Мао и Бакунин, и киносеансы переливались в бурные дискуссии между разного рода группировками, наэлектризовывавшими зал и высмеивавшими друг друга, которые заливались соловьями, стремясь показать, кто больше способствует «пробуждению сознания народных масс».

Мать брала меня с собой на некоторые из этих сборищ. В тринадцать лет я открывал для себя неизвестные территории, меня зачаровывал новый язык свободы, который я никогда и нигде прежде не слышал, этот почти иностранный язык, состоящий из нахальства и ярости, неуважения и юмора, атакующий привычную жизнь с помощью фраз, способных мертвого разбудить. Ясное дело, я почти ничего не понимал из того, что там говорилось или демонстрировалось, но я чувствовал живое биение смысла, его изначальную частоту, что-то вроде «Король наш Карл, великий император, Провоевал семь лет в стране испанской». И эти фразы бились в моей голове подобно тому, возможно, как стучали эти стихи в головах бабушки и дедушки в тот момент, когда разлетелся на кусочки их «Ситроен».

В холле кинотеатра Анна развесила афиши с расписанием сеансов, часами и темами дебатов, а также с массой взаимоисключающих лозунгов и объявлений информативного характера. «Как приготовить коктейль Молотова: взять бутылку, на две трети наполненную бензином и на одну треть песком и мылом в порошке, и при этом погрузить пропитанную бензином тряпку в

горлышко». Были там и магические фразы, необъяснимо близкие по духу, которые входили в наши души и находили там себе местечко: «Прилипни к стеклу, как насекомое». Я запомнил ее на всю жизнь. И еще другую: «Мы не хотим жить в мире, где гарантия не умереть с голоду обеспечивается необходимостью умереть от скуки». Кроме того, на этом пространстве самовыражения можно было прочесть более личностно ориентированные высказывания, дацзыбао типа «Годар – главный мудака из швейцарских прокитайских прихвостней», которые вызвали страстные баталии – как в холле, так и на улице возле кинотеатра – между теми коммунистами, которые имели репутацию ревизионистов, и спонтанеистами-маоистами, отпрысками хороших семей. И наконец, был еще листок 21 на 29, явно самый скромный из всех, приклепленный в левом углу самой незаметной из афиш, но именно перед ним застыл как вкопанный мой отец, когда однажды зашел за нами с мамой: «Как свободно мыслить в стенах храма».

Перед этой бумажкой внезапно куда-то улетучился, как дым, любящий отец и заботливый муж, и вот уже разгневанный и оскорбленный служитель церкви счел себя преданным своими близкими и обреченно увез на хлипком изобретении Феликса Хайнрика Ванкеля всю безответственную компанию в квартиру на берегу реки.

Я помню все, что произошло этой ночью, помню слова, которые говорил каждый, пытаюсь пошатнуть уверенность другого, помню, как они повышали голос, – и помню при этом влажный душный воздух, цитрусовый запах, доносящийся с реки, и резкий звук входной двери, когда отец захлопнул ее за собой. Помню, как человек из Скагена вышел из дома посреди ночи, чтобы где-то на улице зарыться в песок своего гнева.

Но до этого пастор закрылся мощью Божьего гнева. На своем правильном школьном французском со скандинавским акцентом. «Ты вообще отдаешь себе отчет, что ты все еще жена пастора? Нравится тебе это или нет, но такова реальность. Хочу напомнить, что в связи с этим тебе необходима хотя бы минимальная сдержанность, элементарный такт – просто не оскорблять ведомство, в котором я работаю. Я безропотно согласился, что ты носа не показываешь в храме, большинство моих прихожан считают, что я холост. Я слова не сказал, когда ты сообщила мне, что открыла свой кинозал для проведения митингов и некоторые из них заканчиваются потасовкой, которую удастся унять только с помощью полиции. Промолчал, когда в одной из статей местный журнал представил тебя как активистку движения, а твой кинотеатр – как «артистическую колыбель революционного авангарда». Но в тот день, когда я увидел выставленную напоказ среди твоих афиш листовку «Как свободно мыслить в стенах храма», я испытал стыд и унижение. Я не могу это понять, не понимаю смысл этого. И как ты можешь водить своего тринадцатилетнего сына на эти сборища, где мятежные студенты могут говорить вслух все, что угодно, не стесняясь, где они обзывают друг друга как хотят. Что делает подросток такого возраста в подобном месте в подобное время? Это вообще нормально? Я не знаю, что тебе нужно, Анна, я уже ничего не понимаю».

Мощная, как залп русской «катюши», мамина тяжелая оборонная артиллерия вступила в бой. В принципе аргументация Анны повторяла идеи тогдашних борцов за независимость, которые всего-навсего хотели сами распоряжаться своими жизнями, освободиться от богов и хозяев, отдать власть простым людям с заводов и фабрик и еще, а почему нет, беспрепятственно наслаждаться жизнью.

В ту пору для пастора, тем паче для датчанина из Скагена, сына рыбака и потомка многих поколений рыбаков, возвращенного на камбале и копченом угре, в духе уважения к традициям и толерантности, микстура явно оказалась слишком горькой и жгучей. Он не сумел проглотить ее в один присест.

Потому-то в этот вечер Йохан Хансен прекратил препирательства, оглушительно хлопнул входной дверью, взлетел по каменной лестнице, сел в машину, издавшую характерное урчание своих роторов и поршней, и помчался прочь от семьи вдоль посаженной платанами набережной Ломбард.

Неспособный тем не менее распутать нити добра и зла, неспособный предугадать, какие нравственные ориентиры будут у нового мира, неспособный даже найти в себе хоть искорку истинной веры.

Сегодня прогулка после обеда длилась недолго. На улице было минус двадцать, и немногие из нас согласились выйти подышать воздухом во двор тюрьмы. Патрик и я были среди этой немногочисленной группы, хотя я в принципе с трудом переношу такие низкие температуры, от которых перехватывает бронхи и леденеют конечности. Зато Хортон, казалось, был сделан из специального изотермического материала, нечувствительного к суровости здешней зимы. Я видел, как даже в еще более холодную погоду он, раздетый до футболки, ложился на скамейку для бодибилдинга и выполнял упражнения, словно в погожий весенний денек. Он любит таким образом метить свою территорию альфа-самца, выставляя напоказ недюжинный физический потенциал, чтобы произвести на всех впечатление и держать на расстоянии охранников и заключенных, большинство которых понимают только примитивный алфавит инстинктов и язык утрашения.

Сегодня Патрик впервые заговорил со мной о своем отце, преподавателе машиностроения в колледже общего и профессионального образования. Он ни разу не видел, чтобы этот человек ездил в отпуск или вообще отдыхал; он неустанно трудился на ниве образования, со страстью подготавливая сотни юношей и девушек к их будущей профессии, и вследствие этого, как считал Патрик, окончательно забросил жену и троих детей, которых привычно не замечал, когда возвращался домой с работы.

– Сперва, когда мы были маленькие, мы с братом и сестрой удивлялись, спрашивали себя, что же мы такого плохого сделали, чтобы он так к нам относился. Как-то раз мы даже спросили у матери. И тут она дала нам самый мудачкий ответ из всех возможных мудачких ответов: «У него много работы». Мы, конечно, сразу поняли, что мать просто не хочет с нами обо всем этом говорить. Тогда мы стали вести себя так же, как он, жили сами по себе так, словно его вовсе не было. И потом как-то раз я все-таки решил потереться возле его колледжа, чтобы посмотреть, как отец ведет себя с другими. И вот, блядь, в перерыве между двумя занятиями я увидел его таким, каким никогда не видел дома: он вел себя как молодой пацан, со всеми разговаривал, улыбался, шутил с этими своими долбаными учениками, смотрел на этих ребят так, словно они его родные дети. И вот что самое плохое во всей этой истории: казалось ведь, что он их любит, взаправду любит и что за эту переменку он сказал им больше, чем нам за всю нашу жизнь. Я прямо плакал в тот день, вот клянусь тебе! Ничего не сказал брату и сестре. Так и жили во всей этой ненормальной хрени, и как только стало возможно, я свалил из дома. Сейчас этот мудака на пенсии. Мать по-прежнему живет с ним. Я иногда звоню ей по телефону. О нем мы не говорим, как будто он умер.

Мы с Патриком в какой-то момент присели на врытую в землю скамейку. И не сказали больше ни слова. Ледяной ветер скреб когтями лицо, пробирался между петлями вязаной шапочки. Медленно спускался вечер, и вскоре во дворе стало темно, как в могиле. Какой-то незнакомый заключенный подошел к нам и присел на другой конец скамьи. Раньше, чем он смог выдохнуть воздух, Патрик, не глядя на него, произнес: «Свали». Тот вздрогнул, точно от удара током, подскочил и отошел от нас быстро-быстро. Лицо у него было как у человека, который увидел разверзшуюся у его ног пропасть.

Когда мы вернулись в камеру, там уже были двое охранников, которые обыскивали каждый закуток. Они рылись в наших вещах, раскидывая их во все стороны. Салфетка из туалета лежала на кровати, майки валялись возле унитаза, тюбики зубной пасты и зубные щетки были рассыпаны на полу.

– Блядь, что за бардак здесь творится, вы что здесь устраиваете, вы, сиамские близнецы!

Детальный обыск. В одной из камер нашего сектора нашли наркотики. В тот момент, когда охранники уже собирались уходить, Хортон знаком подозвал их.

– Блядь, у вас никаких шансов что-то найти, потому что я все держу здесь! – При этих словах он ухватил под штанами свой член и яйца и пошурудил ими перед носом у охранников. Ни один из сиамцев не высказал желания собственноручно убедиться в правдивости признания Хортона. Увидев, что партия выиграна, он не удержался и закрепил преимущество: – Там изрядный сверток и отличного качества!

Когда за ними закрылась дверь, мы принялись все расставлять по местам, вновь складывать одежду и чистить все, что было испачкано. Патрик яростно и громко негодовал, словно разъяренный шимпанзе в клетке, которого выкрали из привычной среды обитания и мучают злые похитители. Наконец, когда в камере была наведена чистота, он раскрыл альбом для рисования, достал карандаши и недрогнувшей рукой прочертил несколько прямых линий, несколько ломаных, потом несколько волнистых, набросал приблизительный контур и, подобно художнику Скагенской школы, молча отправился в страну цветов и красок, эту одну ему принадлежащую местность, где не существует ни отцов, ни детей, где, не имея возможности переделать мир целиком, он может хотя бы перерисовать его так, как ему заблагорассудится.

Понадобилось время, чтобы заросла трещина, которая возникла в отношениях моих родителей после мая 1968 года. В тридцать восемь лет мама с головой нырнула в мясорубку истории, а в это же время с другой стороны стекла отец довольствовался тем, что, заложив руки за спину, наблюдал, как ее там крутит и вертит.

За год, последовавший за этими событиями, родители постарались ликвидировать все разрушения, которые праздничный салют, переходящий в бомбардировку, произвел в их союзе. Летом 1969 года вся семья, заботливо размещенная на серых велюровых сиденьях NSU Ro 80, решила преодолеть 2420 километров, которые разделяли две планеты, принадлежавшие совершенно различным солнечным системам. Вопреки всем ожиданиям, роторно-поршневой механизм не подвел и показал себя с лучшей стороны, и все путешествие заняло не более двух дней. Анна и Йоханнес вели по очереди. Я впервые оказался в Скандинавии. С самых первых дней, подставляя лицо ветру, который медленно сглаживал силуэты дюн, купаясь в бледном свете, серебряной пленкой ложащемся на поверхность вод, наслаждаясь гостеприимством и доброжелательностью семьи, по численности способной составить маленькую армию, я не мог отделаться от странного ощущения, что наконец попал к своим. Вскоре, как и они, я начну рассуждать о сельди, стану понимать язык бури и вместе с двумя другими Хансенами возле склада семейного предприятия рассыпать по мешкам рыбную муку, чтобы накормить других рыб.

Тут все разговаривали в полный голос, смех грохотал, как гром, во всех углах огромной комнаты, где собирался весь клан. Было очень много еды, разложенной по маленьким тарелочкам, которая недолго держалась под натиском аппетита северных колоссов. Мы с матерью не особо понимали, о чем говорят вокруг, но крепко держали в руках стаканы и стойко сохраняли на лице продиктованную регламентом улыбку; мы были похожи на двух английских туристов на каникулах – робкие чужаки, которые хотят вписаться в общее празднество. Иногда отец подходил к нам, обнимал за плечи и представлял какому-нибудь новому Хансену, ростом еще выше предыдущего, который разражался хохотом, выслушивая историю про нас, которую рассказывал отец, – но только мы из нее не понимали ровным счетом ничего. И потом, мало-помалу, комната освобождалась от гостей, мужчин и женщин, которые оказывались во дворе. Так же как они в прежние годы собирались вокруг упряжки фризских лошадей, они окружали Ro 80. Отец поднимал капот и демонстрировал семье секреты роторно-поршневого мотора, изобретенного Ванкелем и действующего в соответствии с теоретическими принципами работы четырехтактного двигателя внутреннего сгорания, разработанными Бо де Роша.

Хансены с уважительным вниманием слушали объяснения отца, ничуть не смущаясь порывами ветра, посвистывающего в подворотнях. Они были похожи на собрание верующих, внимающих проповеди автомеханика, который пришел поведать им о божественно-тщательном построении идеального мира.

Я довольно рано понял, что протестантское вероисповедание – довольно непритязательный вид спорта, правила у него не слишком строгие, оно лишено такой жесткой структуры и не связано так крепко литургическими узами, как католичество. Каждый приход волен организовать свою деятельность так, как ему удобно, никакой централизации, и пасторы не обладают никакой реальной властью. Они только комментируют Священное Писание или приглашают других духовных лиц, чтобы как-то разнообразить свои еженедельные собрания. В связи с этим спустя неделю после нашего приезда Генрик Гласс, скагенский пастор, пригласил отца к микрофону в соборе, чтобы тот позвал за собой его паству туда, куда ему заблагорассудится. Отец потом рассказал нам, что сперва он говорил о танце песков, гонимых ветрами, примчавшимися с разных сторон света, и о шквальном ветре перемен, ворвавшимся в наши жизни, несущем разнообразные новшества и искушения, которые подтачивают наши жизни и исподволь заносят невидимым песком наши церкви и нашу веру. Говорил о потрясениях, колеблющих нашу эпоху, о сомнениях и вопросах, которые они рождают в каждом из нас, присовокупил еще парочку метафор (я их уже забыл) и в заключение напомнил о своей любимой занесенной песком церкви и о долге, который сопровождает нас на протяжении всей жизни: откапывать, убирать песок, чтобы иметь возможность вот так каждое воскресенье встречаться вместе в храме нашей веры.

Речь его, кажется, весьма впечатлила местное население. На паперти они окружили отца и стали благодарить его и хвалить его замечательную проповедь. От такого радушного приема отец весь раскраснелся от счастья, ведь он привык, что тексты, которые он в поте лица писал в Тулузе, растворялись бесследно в индифферентности местных прихожан.

Мать и я и так уже наизусть знали старую песенку про пески, поэтому мы кротко пережидали, когда пыл народа поостынет и мы сможем приступить к семейному ужину за столом с дикарскими яствами.

В день отъезда, когда мы уже уселись в нашу роторно-поршневую машину, какой-то мужчина быстрым шагом подошел и наклонился к открытому окну водителя. Они с отцом обменялись несколькими фразами, и я увидел, как Йохан широко и радостно улыбнулся. Он вышел из машины и открыл капот замечательного создания немецких механиков. Далее последовала долгая беседа об абсолютных и относительных достоинствах мотора, изобретенного Ванкелем. Собеседник отца (потом выяснилось, что он намеревался купить такую же плачевную таратайку) с почти религиозным почтением слушал речи своего пастыря, а тот, не колеблясь, демонстрировал незыблемую веру в чудо новейшей инженерии. В тот момент оно вдохновляло его куда больше, чем божественные откровения.

В тот приезд я находился в опасном переходном возрасте и уже сумел заметить, что моя мать очень нравится датчанам. Куда бы мы с ней ни пошли, ее легкая походка, изысканная пластика и тонкие черты лица привлекали внимание окружающих мужчин. Не так-то просто было для подростка принять тот факт, что у него весьма сексапильная мать, и она прежде всего женщина, а потому ускользает из его детства, выскальзывает из его системы ценностей и становится кем-то незнакомым, кем-то, кого он совсем не знает, кем-то обладающим – одновременно будучи при всем при этом женой пастора – странной властью возбуждать у мужчин желание, поскольку у нее есть некая загадочная изюминка, какое-то магическое обаяние, какие-то удивительные формы, о которых мечтают парни всей земли. Ей было 39 лет, она была моей матерью, но мне предстояло заново узнать эту незнакомую мне женщину, которая теперь всегда будет жить с нами в нашем доме.

Поездка в Данию благотворно повлияла на всех в нашей семье. Отец вновь вдохнул запахи родной земли, услышал шум двух омывающих мыс морей, обрел тепло родных и близких. Мать была потрясена удивительной красотой северных пейзажей. Я же выучил несколько основных фраз на датском, таких как *Mange tak* – «Большое спасибо», *Jeg er ikke sulten laengere* – «Я уже не голоден», *Jeg har søvn* – «Мне хочется спать», *Eller er min far* – «Где мой отец» и *Er ere n smuk båd* – «Это красивый корабль». Еще я понял, что, несмотря на французское воспитание, уроки в школе и родной с детства французский язык, душой я истинный Хансен. Было во мне нечто неопределимое родом из этого места, и оно всегда влекло меня туда. Сами теперь понимаете, почему в четырнадцать лет я вбил себе в голову, что когда придет мой час, я вернусь туда, чтобы помереть среди гигантов.

Обратная дорога во Францию абсолютно ничем не напоминала беззаботную прогулку, которую мы совершили по дороге на мыс Гренен. Первый раз машина сломалась в Орхусе. Странное шипение, легкое потряхивание – и мотор устроил себе трехчасовую сиесту. Сломалось реле управления полуавтоматической коробки скоростей. Местный автомеханик сумел-таки ее наладить и машине удалось доехать до Гамбурга, где сломался бензиновый насос. Нам пришлось остаться там на ночь. На следующий день, поменяв деталь, мы добрались до Дортмунда, где опять сломались и на буксировочном тросе заявили в местное отделение фирмы NSU. Выехать из Дортмунда нам удалось только на следующий день после обеда, причем причину аварии мы так и не выяснили. Немецкий механик изо всех сил пытался объяснить по-английски, почему отказал некий неизвестный нам элемент конструкции, который прятался, как нам показалось, где-то под магнитной системой трансформатора. Славный малый неустанно повторял снова и снова: *rotor housing*, настырно тыча указательным пальцем в верхнюю часть мотора, но ни отец, ни мать не могли понять, что же таилось за этими нечленораздельными словами и не поддающимся расшифровке языком жестов. Истратив все аргументы, механик наконец повторил универсальное, всем понятное и к тому же почти одинаково звучащее на немецком, французском и датском слово: «Гарантия». Многократно при этом добавив: *Keine Geld, nein, Keine Geld*, что в переводе на лексически более богатый язык означало: «Вы купили говенную машину, NSU прекрасно об этом знает и потому вы можете воспользоваться гарантией и фирма возьмет ваши расходы на себя. Вам ничего не придется платить. *Nein*».

Оставшуюся тысячу километров мы проехали одним махом, как больной проглатывает горькую микстуру. Ночной Париж, автострада, Этамп, Орлеан, Шатору, Лимож, Брив, Каор – и на рассвете, в лучах розовой зари, мы медленно спустились в долину Гаронны.

Выключив мотор машины, припаркованной возле набережной Ломбард, отец провел рукой по лицу и произнес: «Какое забавное путешествие». Мать открыла окно машины и посмотрела на реку. Странно, но, несмотря на все тяготы этого изматывающего путешествия, никто не спешил покинуть злосчастный автомобиль, чтобы вернуться к обыденной жизни, словно стараясь еще немного продлить ощущение некоего единения, которое сближало их во время этой нескончаемой дороги, когда они сменяли друг друга за рулем, стремясь завершить общее дело и вернуться к порогу нашей квартиры – притом что каждый втайне опасался, что ее дверь в какой-нибудь момент снова громко хлопнет, как тогда.

«*Chatter marks*», – сказал отец. «*Rotor housing*», – улыбаясь, ответила мать. И они наконец вышли из машины.

Сегодня утром я получил письмо от моего ассессора. Он спрашивал, готов ли я принять участие в семинаре по вербализации, организованном психологом, в ходе которого каждый участник поведаст остальным об этапах своего «жизненного пути» и о причинах, по которым он очутился в тюрьме Бордо. Если я хорошо все понял, сеанс будет проходить по схеме «Анонимных алкоголиков». «Здравствуйте, меня зовут Джон, я здесь за применение насилия при

отягчающих обстоятельствах и я никого не ударил уже восемь месяцев». Все хором: «Браво, Джон». Аплодисменты.

Судья вполне в курсе моих деяний. Он выслушал всех свидетелей и долго допрашивал меня самого. Он приговорил меня к двум годам лишения свободы. Все уже сказано. Если они хотят выпустить меня раньше срока, они должны сами решать и брать на себя ответственность. Я не собираюсь склеивать с их рук жалкие зернышки снисхождения и изображать раскаяние, чтобы вымолить себе лишнюю пару месяцев свободы.

Я не стану отвечать Вигго Мортенсену. Я изменил о нем мнение. Он меня разочаровал.

– Бля, когда напарываешься на подобные штуки, вот уж реально стремно делается! Библию-то ты уже читал? Ох! Говорю тебе, Библия – это вообще!

Представить себе не мог, что Патрик в один прекрасный день начнет задавать мне такие вопросы. А вот нет, я, сын пастора, никогда не читал Библию. Но у него-то откуда эта книга?

– Мама засунула мне ее в рюкзак, когда я отправился в эту дыру. Она мне сказала: «Вреда не будет». Бля, я открыл ее десять минут назад и – ты уж поверь мне – суровые ребята, эти братья, и что там им ниспосылается, ужас, у нас здесь это детский лепет на лужайке. Наши судьи просто ангелы по сравнению с ними. Вот послушай. Перед текстом я назову имя чувака, который это написал, и число, но это совсем не его определитель номера. «Исайя 65: 12. Вас обрекаю Я мечу, и все вы преклонитесь на заклятие: потому что Я звал, и вы не отвечали; говорил, и вы не слушали, но делали злое в очах Моих и избирали то, что было неуютно Мне». Не, ну крут чувак, ничего не скажешь. Жара просто, а не книжка. А вот погоди, здесь еще вот это: «Матфей 25: 30. А негодного раба выбросьте во тьму внешнюю: там будет плач и скрежет зубов. Сказав сие, возгласил: кто имеет уши слышать, да услышит!» Папапапам! И вот последнее послушай: «Левит 20: 15. Кто смесится со скотиною, того предать смерти, и скотину убейте. 16. Если женщина пойдет к какой-нибудь скотине, чтобы совокупиться с нею, то убей женщину и скотину: да будут они преданы смерти, кровь их на них». Без шуток, они все там практически обречены на смерть, эти ребята. И скотину убейте. Ну послушай, зверушка-то тут при чем, она-то чем виновата!

Библия величественно пролетела по камере, как подраненная птица, и рухнула у источенной селитрой стены, из-за которой доносилось царапанье грызунов.

Посреди ночи Патрик Хортон так мощно и душераздирающе заорал, что я мигом соскочил с кровати, а в камеру галопом прибежали двое охранников, сиамцы, вооруженные электрошокерами и дубинками, готовые положить конец тому, что они сочли агрессией с применением насилия.

– Я видел ее, она была тут, она сидела у меня на животе и смотрела на меня. Не знаю, была ли это очень большая мышь или небольшая крыса, но эта тварь по мне ходила! Я видел ее, начальник, видел своими глазами. Мне надо сменить камеру, я не могу здесь больше оставаться. Я не переносу грызунов, правда, я от этого болею. Вы должны что-то сделать, бля, позовите директора, кого хотите позовите, но сделайте что-нибудь!

Ошеломленные этим зрелищем охранники застыли на месте: на их глазах развеялся миф, пал непобедимый герой. Немного оправившись, они стали уверять Патрика, что не имеют права будить директора из-за какой-то мышки. Тюрьма – это огромный крысиный заповедник, где с незапамятных времен гнездятся всевозможные вредные животные. Это все знают. Ну и вот, они, конечно, все понимают, но будить начальство из-за этого не станут.

Библия была отомщена. Сиамские близнецы терпеливо и подробно объясняли ситуацию Патрику, опасному преступнику, убийце «Ангелов Ада». В два часа ночи они разговаривали с ним с той же кротостью, с той же сдержанной эмпатией, с какой матери успокаивают младенцев, которым ночью приснился кошмар.

– Я так не могу. Мне насрать на ваши объяснения, я так больше не могу, и все. Заберите меня отсюда. Если у вас нет другой камеры, отправьте меня в санчасть, в изолятор. Я не просто

языком чешу, у меня крыша съедет, предупреждаю. Крыс не выношу вообще. Ну ведите же меня в медсанчасть!

В это невозможно поверить, но охранники по радио связались с охранником санитарной части. Один сделал Хортону знак собираться. Он, точно ребенок, которому отменили ужасное наказание, в мгновение ока натянул свитер и штаны и, даже не посмотрев на Исаяю, Матфея и меня, выскользнул из камеры так быстро, словно смерть гналась за ним по пятам.

Глубина глоток

Я довольно быстро понял, что мой отец никогда не станет настоящим французом, одним из тех типов, которые убеждены, что Англия всегда была гиблым местом, а весь остальной мир – глубокая провинция, в которой живут одни невежды.

Его неумение приспособиться к жизни в этой стране, понять ее до конца, полностью воспринять ее обычаи и узусы раздражало мать до такой степени, что их разговоры на эту тему часто переходили в обсуждение других болевых точек. Несмотря на то что он провел во Франции уже шестнадцать лет, Йохан Хансен оставался датчанином до мозга костей, едоком смерребреда, скандинавом, северянином, безоговорочно верным данному слову, привыкшим смотреть людям в глаза, абсолютно лишенным той уютной диалектики, что очень популярна во Франции, настроенной на отрицание очевидного и свободу от любых обязательств.

В новой стране, принявшей его, он ценил прежде всего язык, который употреблял с огромным уважением и чрезвычайным грамматическим тщанием. Что до остального, ему явно трудно было найти здесь жизнь, которая была бы ему под стать. Он часто говорил, что из всех наций, которые ему известны, французам труднее всего приложить к себе те моральные и общественные ценности и добродетели, которые они требуют от других. Особенно это касается равенства и братства. «Со всеми этими вашими букетами привилегий, ваши президенты и всякие мелкие маркизы больше похожи на королей, чем наша несчастная королева Маргрет II». Он любил повторять это за столом, пытаясь уязвить мою мать. Помимо этого ему трудно было принять такие качества, как лицемерие, склонность ко лжи и нечестность, которые, как и вообще всех французских политических деятелей, он мог обсуждать только в связи с коррупцией и склонностью к недостойным компромиссам с совестью.

Анна быстро пресекала этот поток упреков. «Ну в таком случае зачем ты здесь живешь? Ты волен вернуться в родные места». Отец никогда ничего не отвечал, но у нас в ушах звучал его спокойный тембр: «Здесь мой сын, и еще я тебя люблю».

Хотя я был рожден и воспитан во Франции, я часто разделял негативные ощущения и мнение отца о нашей стране. Я прекрасно понимал, что человеку его масштаба, воспитанному в суровых испытаниях и морских бурях, в пацифистском и интернационалистском духе, тесно в шестиугольном французском кафтанчике, куда его все время пытаются запихнуть.

И потом, правда, здесь его сын и к тому же, хотя это становится все более и более сложным, он все еще любит жену.

Ситуация в «Спарго» несколько успокоилась, вошла в привычный ритм: спад-подъем, время от времени какой-нибудь особенно успешный фильм. В 1970 году вышли «Красный круг», «Тристана», «Большой маленький человек», «Мясник», «Военно-полевой госпиталь», «Признание» – этот год для матери оказался на редкость удачным. В прокат поступило множество шедевров, которые отлично вписывались в наш артхаусный формат, который пока еще считался хорошим тоном в обществе. В лицее я быстро стал популярным благодаря маминой деятельности, молодежь той эпохи переживала кинематографическую лихорадку необыкновенной силы.

Сам я пересмотрел все эти фильмы, один за другим. Иногда так получалось – чаще всего утром, в исключительных случаях, когда выходил какой-нибудь особенно талантливый фильм, – что мать организовывала «семейные» сеансы. Тогда мы одни имели в своем распоряжении весь зал. Сидя рядом, отец, мать и я, мы смотрели полнометражный фильм на большом экране. Я переживал совершенно незабываемые моменты, и пока киномеханик сменял одну за одной бобины пленки из триацетата целлюлозы, проецируя изображение на экран, мы в огромном зале наслаждались всеми преимуществами дружной и счастливой семьи.

Отец крайне редко рассказывал нам о храме и о том, что он там делает. В отличие от своих датских выразительных проповедей, вызывавших пылкую реакцию прихожан, здесь он, казалось, осуществляет необходимый минимум деятельности в обстановке любезной индифферентности. Он по-прежнему тщательно готовился, расписывая на бумаге проповеди, но не было в нем больше страсти, он словно выдохся. Мать по-прежнему не появлялась в соборе, и я тоже уже давно не ходил туда слушать его благоглупости, которые, подобно таким же историям его собратьев и конкурентов, бесконечно, из века в век, прокручивались на божественном фонографе.

Иногда по вечерам, ожидая мать с работы, Йохан наливал себе стакан чего-нибудь алкогольного и садился у большого окна, выходящего на реку. Летом, когда шел дождь, он открывал его настежь, слушал шум ливня и вдыхал запах жизни, поднимающийся с мокрого тротуара. Казалось бы, от такого священнослужителя, романтического, печального, слегка разочарованного, следовало ожидать, что он будет приправлять эти одинокие вечера Генделем или Бахом. На самом деле в эти моменты грусти и тоски отец слушал записи, которые словно высыпались из шкафа в произвольном порядке: Ли Кониц, Эмерсон, Лайк и Палмер, Стэн Гетц, Кертис Мейфилд и «Лед Зеппелин» звучали из колонок нашей системы хай-фай, выбранной лично моей матерью. В ту эпоху, когда мои родители были молоды, звук играл куда большую роль, чем в наше время. Людей тогда охватил странный перфекционизм, стремление к совершенству, когда они практически молились на виниловый звук, шуршания и трески, шарканье пальца по струне и алмазные иглы. Для пастора эта музыка, без сомнения, слетала напрямую с небес посредством высокочастотных динамиков и акустических систем, изобретенных Джеймсом Буллоу Лэнсингом и произведенных компанией JBL, носящей его имя и базирующейся в Нортридже, штат Калифорния.

Если бы Йохан был еще на этом свете и оказался в курсе всех злоключений моей неяркой жизни, он по крайней мере наверняка был бы удовлетворен, зачитав эту совершенно бесполезную, но исключительно точную речь о происхождении наших громкоговорителей. «Мир сейчас стал слишком сложным, чтобы довольствоваться приблизительными определениями, расплывчатыми объяснениями или смутными понятиями. Я считаю, что в наше время более чем когда-либо нужно стремиться к точности, правильности, верности в деталях. Раньше ты мог заполучить душу человека с помощью богоугодной картинки, и ему за это ничего не нужно было, кроме благословения. Сегодня, чтобы добиться того, за чем я пришел, нужно сопровождать этого брата по жизни, отвечать на его вопросы, развеивать его тревоги и окаймлять его доброжелательным спокойным поведением, подобно тому, как ведущий семинара “Анонимных алкоголиков” отслеживает своих пациентов».

Так говорил мой отец. Когда он приканчивал первый или второй бокал, сидя у открытого окна и слушая дождь, ему иногда приходила в голову мысль вовлечь меня в обсуждение своих чудачеств, он называл это «часы, потраченные на то, чтобы утвердиться в вере». Однажды вечером, когда мать где-то довольно надолго задержалась, он, возможно, довершая уже третий бокал, под шум бьющегося о стекло дождя, внезапно решил отказаться от своих завоеваний и разрушить стенку, на которую опирался долгие годы. «Я утратил веру в Бога. С некоторых пор ни одного дня не провел в вере. Даже нескольких часов не наберется. И дальше уже речи нет об укреплении в вере, вообще нет. Когда мы в последний раз ездили в Скаген, я долго говорил с тамошним пастором обо всем об этом. В какой-то момент он мне сказал: “Но Йохан, у меня ведь тоже ничего нет, совсем ничего, кроме этой бутылки виски, которую я заменяю на полную, когда жидкость в ней кончается. Вера – вещь очень хрупкая, она зиждется на трехкратной пустоте, это все магические фокусы. А что нужно, чтобы быть хорошим фокусником? Кролик и шляпа”. Вот все точно так, сынок. И ничего больше. Твоя мать и ты, вы совершенно правы, что никогда ко мне туда не ходите и вообще этим не интересуетесь. Я вам завидую. Сам я, чтобы заработать на жизнь, вынужден по-прежнему подниматься на сцену и выполнять один

и тот же старый трюк, единственный, который я выучил за всю свою жизнь. И нет у меня ни женщины, которую можно распилить, ни кролика, ни шляпы».

В этот вечер отец приготовил нам на ужин запеканку с баклажанами. Она ожидала нас в теплой духовке. Мама пришла, аккуратно прикрыв дверь, чтобы она не хлопнула. Йохан уже спал.

Рано утром, как ни в чем не бывало, словно ночью ничего и не случилось, Патрик Хортон на цыпочках вернулся в нашу камеру. Позже, когда мы пришли с завтрака, в дверь просунул голову охранник. «Я поговорил с шефом об этой твоей истории. Все улажено. Через час придет дератизатор». И действительно, где-то в полдень в нашу обитель явился служащий, который принес с собой длинный мастерок, металлическую крошку и штукатурку для приготовления быстросхватывающегося состава. Чтобы создать свою смесь, он развел порошок в небольшом количестве воды, высыпал туда же металлическую крошку и принялся замазывать все трещины, змеящиеся по стенам нашей камеры. Пока он работал, Хортон ходил за ним, как угодливая тень, каждую минуту проверяя качество изоляции.

– Вы уверены, что в составе достаточное количество металла? А у кусочков острые края? Надо, чтобы они сразу резали лапы, иначе все бесполезно. А сколько времени нужно, чтобы это начало действовать? Двадцать четыре часа? Бля, а нельзя как-нибудь сделать побыстрее?

Дератизатор провел в нашей комнате час, вроде все промазал и позатыкал. Ему пришлось сходить и принести еще мешок штукатурки и еще мешок металлической крошки. Когда он закончил, он помыл руки в нашей раковине, посмотрел на безупречно чистую салфетку на унитазах, потом внимательно посмотрел на нас с Патриком.

– А кто из вас так боится мышей, интересно?

Хортон, помолчав, признался, что это он. Служащий, улыбаясь, собрал свой инвентарь.

– О бля, я нисколько не сомневался!

Январь месяц в Монреале один из самых холодных в году. На этой неделе температура достигла минус 32 градусов. В наших камерах, несмотря на отопление, было не больше 14 градусов. Нам раздали дополнительные одеяла. Они были из акрила, и у них был странный запах, который напоминал запах некоторых резиновых игрушек китайского происхождения, произведенных из старых автомобильных покрышек путем переработки. Ночью мы спали в одежде. Днем натягивали на себя два-три свитера, чтобы не было так холодно.

Крысы тоже вымерзли в подземных переходах тюрьмы, да еще их лишили обычных выходов – вот они и не стали наносить нам повторный визит. Настроение Хортона заметно улучшилось. Он вновь обрел всю свою самоуверенность и желание выпустить кишки доброй половине человечества.

– Знаю я одного из тех типов, которые сегодня появились. Жулик тот еще. В Монреале лучшего не найти, если надо скупить краденое. Прямо в тот же день все сделает. Я сказал, ты запомнил, да? Но когда ты врубишься, что ему от тебя за это надо, ты поймешь, что парень явно не работает на Армию спасения. И к тому же этот говнюк постоянно носит с собой перо, ну ты понимаешь. Думаю, он за сутки здесь уже заточку сделает. С ним все ясно, у меня сомнений нет, что он плохо кончит. В один прекрасный день сам нарвется на нож, и его разрежут на кусочки. Как они там в Библии говорят, кто поднял заточку, от нее и помрет. – С этими словами лучший из известных мне толкователей Священного Писания заворачивался в одеяла, детально перед тем проверив, что все трещины в стенах по-прежнему тщательно заделаны магическим металлическим составом и вредные грызуны не имеют возможности пробраться в камеру.

Невзирая на холод в помещениях, кормили нас все так же плохо. Сегодня нас потчевали бурой курицей с зеленым горошком, который в микроволновой печи разморозили лишь напо-

ловину. Иногда в такие моменты гастрономического угнетения – ведь в тюрьме прием пищи является одним из важнейших моментов в течение дня – я думал даже не о еде, которую готовила мать, поскольку она не любила заниматься кулинарией и покупала готовые блюда, а о тех потрясающе вкусных обедах и ужинах, которые в Скагене стряпал мой дед Свен; они подавались с брусничным соусом, пробуждающим во рту незабываемые кисло-сладко-соленые ощущения.

В этот вечер было так холодно, что мне не удавалось заснуть. Я слушал, как шумит вода в канализации, как кашляют люди. Иногда долгие спазматические приступы доносились с других этажей. Эти звуки, искаженные и приглушенные расстоянием, напоминали крики и стоны диких зверей.

Приходил отец. Мы болтали с ним о том о сем, он быстро перевел разговор на свою машину Ro 80. Он интересовался, в частности, что стало с этой машиной, когда он уехал из Тулузы в конце 1975 года. Я знал ответ, но предпочел держать его при себе. Я знал, что отцу это будет неприятно и больно. Потом к нам присоединились Вайнона и Нук. Это был прекрасный момент мира и покоя. Мы сидели вместе, живые и мертвые, прижавшись друг к другу, и каждый старался дать другому то, в чем он больше всего нуждался, чего ему так сильно не доставало: немного тепла и сочувствия.

У заключения ужасный запах. Повсюду распространяются затхлая вонь дурных, порочных мыслей, тлетворный выхлоп коварных идей и злобных намерений, тухлый душок сожалений о прошлом. Свежий воздух свободы сюда не попадает по определению. Мы вдыхаем углекислый газ от нашего дыхания, от общего дыхания с отрыжкой от бурой курицы и мутных замыслов. Даже одежда и постельное белье в конце концов пропитываются этими испарениями, и к этому невозможно привыкнуть. При возвращении с прогулки, когда воздух с улицы останавливается перед турникетом, переход делается от раза к разу все более трудным, и появляется смутная тошнота, напоминающая нам, что мы живем и дышим в поглотившем нас чреве, которое нас непрерывно и неуклонно переваривает и которое в некоторый момент исторгнет нас скорее для того, чтобы самому от нас освободиться, чем чтобы нас освободить.

Получение в восемнадцать лет степени бакалавра прошло не без трудностей. Я вылез только потому, что меня вытягивали, притом что многих других потопили. В отличие от свободомыслия 68 года, когда каждый получал свой диплом, просто представив сделанный дома доклад, Тулузская академия за последние годы очень повысила требования и стандарты получения сертификата. Мои хорошие результаты в области физкультуры, географии и некоторых других подобных предметов плюс умение выпутываться из затруднительных ситуаций позволили мне представить мой последний *ausweis* по успеваемости пастору Хансену и услышать от него с некоторой торжественностью произнесенное на языке Ханса Кристиана Андерсена «*Min søn, jeg er stolt af dig*», что можно перевести как «Сын мой, я горжусь тобой».

По правде сказать, я никогда толком не знал, не вызывает ли вид эдакого метиса-полублондина, каким я выглядел в его глазах, у отца сожаление о том, что он не женился на настоящей уроженке Скагена, которая бы думала по-датски, любила по-датски, ела по-датски, плавала по-датски, трахалась по-датски и произвела в результате этого мощного датского младенца, и все гордились бы его силой и красотой, но который при этом, едва открыв глаза, прошептал бы своим восхищенным близким: «*Smigger er som en skygge: det gor du, eller større, eller mindre*». Это означало бы: «Лесть, она как тень: она не делает вас ни выше, ни ниже».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.